

«Не та Россия»: апофатическая стратегия репрезентации в эго-документах русского зарубежья



Иван Сергеевич Савушкин (р. 1999) – аспирант кафедры теории культуры РГГУ.

Для русской эмиграции первой волны, особенно для деятельной, пишущей ее части, свойственно ретроспективное конструирование образа идеальной России прошлого. И часто методом такого конструирования ретротопий была апофатика. Термин «апофатика», или «апофатизм», восходит к богословию. Вот как его определяет Владимир Лосский:

«Дионисий различает возможность двух богословских путей: один есть путь утверждения (богословие катафатическое, или положительное), другой – путь отрицания (богословие апофатическое, или отрицательное). Первый ведет нас к некоторому знанию о Боге – это путь несовершенный; второй приводит нас к полному незнанию – это путь совершенный и единственно по своей природе подобающий Непознаваемому. [...] Чтобы приблизиться к Нему, надо отвергнуть все, что ниже Его, то есть все существующее. Если, видя Бога, мы познаем то, что видим, то не Бога самого по себе мы видим, а нечто умопостижимое, нечто Ему низлежащее. [...] Идя путем отрицания, мы поднимаемся от низших ступеней бытия до его вершин, постепенно отстраняя все, что может быть познано, чтобы во мраке полного неведения приблизиться к Неведомому. Ибо, подобно тому, как свет – в особенности свет обильный – рассеивает мрак, так и знание вещей тварных – в особенности же знание излишнее – уничтожает незнание, которое и есть единственный путь постижения Бога в Нем Самом»¹.

Понимая всю метафоричность богословского термина, применяемого к небожественным феноменам, мы тем не менее хотели бы сохранить этот теологический оттенок значения, так как в исследуемом дискурсе репрезентация образа России не только непосредственно сопрягалась с религиозным опытом пишущих, но и часто подвергала этот образ прямой сакрализации. Для одной части русской эмиграции Россия продолжала свой исторический путь, даже став советской; для другой – между Россией и СССР было немислимо поставить знак

¹ Лосский В. Н. *Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Он же. Боговидение*. М.: АСТ, 2003. С. 125–126.

равенства, так как Россия закончилась в 1917 году. Но были и те эмигранты, которые, рассуждая о России, не могли прийти к однозначному выводу. Именно такой способ репрезентации, который не дает какого-то конкретного, законченного образа России, но лишь отсеивает элементы, не являющиеся частью представления об утраченной и сакральной земле, мы и называем «апофатическим».

Этот способ характерен для самых разных течений русской эмиграции. Их представители могут спорить и критиковать друг друга, но и в критике, и в полемике отчетливо прослеживается апофатизм в описаниях России. В наши цели не входит исследование широты распространения этой стратегии в дискурсах эмигрантов. Скорее мы сосредоточимся на авторских приемах ее использования, ее семантике и функциях – прежде всего в эго-документах.

Способ репрезентации, который не дает какого-то конкретного, законченного образа России, но лишь отсеивает элементы, не являющиеся частью представления об утраченной и сакральной земле, мы называем «апофатическим».

Однако прежде, чем говорить о том, какое место эта стратегия занимает в дневниковом письме, необходимо обратиться к публичным текстам русской эмиграции. Это необходимое условие, так как дневники пишущих людей не существуют сами по себе, в безвоздушном пространстве. Их необходимо систематически сопоставлять с публичными текстами того же автора. Такое сравнение двух типологически разных текстов дает возможность наблюдать корреляционные зависимости в использовании апофатического подхода к репрезентации образа России.

Как уже сказано, во многих случаях Россия эмигрантов – это ретротопия, то есть утопия в прошлом, не-место, превращающееся в навсегда потерянное идеальное не-время. Зигмунт Бауман отмечал принципиальную сосредоточенность ретротопии на отрицании:

«Через пятьсот лет после того, как Томас Мор, назвав утопией, отверг тысячелетнюю мечту человечества о возвращении в рай или устройении Небес на Земле, еще одна гегелевская триада, образованная двойным отрицанием, приблизилась к завершению полного круга. Сначала планы на человеческое счастье [...] оторвали от любых конкретных топосов, [...] так что настал черед отрицать сами планы с помощью аргументов, которые ранее доблестно и почти успешно отрицались. Пережив двойное отрицание, утопия



Мора сегодня восстала в виде ретропии – в картинах утраченного / украденного / покинутого и призрачного прошлого².

Апофатика, подобно недостижимым утопии и ретропии, не позволяет достичь конечного результата – но лишь приблизиться к нему. Эта ключевая апофатическая черта хорошо заметна в обсуждениях одной из самых популярных тем эмигрантской публицистики. Речь идет о миссии русского зарубежья. Почему это важно? Очень часто в текстах русской эмиграции начиная с доклада Ивана Бунина «Миссия русской эмиграции» на одноименной конференции эта миссия формулируется через отрицание: эмигрант должен быть *не* советским человеком – в этом, собственно, его миссия и состоит. Приведем несколько цитат из доклада:

«Миссия – это звучит возвышенно. Но мы взяли и это слово вполне сознательно, памятуя его точный смысл. Во французских толковых словарях сказано: “миссия есть власть (*pouvoir*), данная делегату идти делать что-нибудь”. А делегат означает лицо, на котором лежит поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти торжественные слова в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы представляем за кого-то? Цель нашего вечера – напомнить, что не только можно, но и должно. Некоторые из нас глубоко устали и, быть может, готовы, под разными злостными влияниями, разочароваться в том деле, которому они так или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине никчемным и даже зазорным. Наша цель – твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжелая, но и высокая, возложена судьбой на нас»³.

И в чем же эта миссия заключается?

«Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: “Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков”. Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет ленинских градов, ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. “Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!” Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем с точки зрения не партийной, не поли-

2 БАУМАН З. *Ретропия*. М.: ВЦИОМ, 2019. С. 18.

3 Бунин И. А. *Публицистика 1918–1953* / Под ред. Л. М. Суриса. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 192.

тической, а человеческой, религиозной. “Они не хотят ради России претерпеть большевика!” Да, не хотим – можно было претерпеть ставку Батюга, но Ленинград нельзя претерпеть. “Они не прислушиваются к голосу России!” Опять не так: мы очень прислушиваемся и – ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда. И пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не планетарной матерщине, хотя бы и одобренной самим Макдональдом. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: “Ах, ах, тра-та-та, без креста!” и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего воссияния. Пылала! Не пора ли оставить эту бессердечную и жульническую игру словами, эту политическую риторику, эти литературные пошлости? Не велика радость пылать в сыпном тифу или под пощечинами чекиста! Целые города рыдали и целовали землю, когда их освобождали от этого пылания. “Народ не принял белых”. Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа. Но, слава Богу, это не совсем так: не принимали хулиган да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут назад ворованное и грабленое»⁴.

Приведенные цитаты позволяют сделать несколько важных для этого текста выводов. Во-первых, апофатическая стратегия присуща тексту Бунина и на риторико-стилистическом уровне (практически все его утверждения строятся через отрицания), и на уровне сущностном: чаще всего он сознательно не доводит свою мысль до конца: мы хотим иного течения – но какого? почему нельзя терпеть «Ленинград»? Во-вторых, мы видим, что в послыле «надо быть не такими, как они» апофатически выражается и утопический образ России. Надо быть не как они, потому что они – не Россия. Еще лучше это заметно в тезисе про неприятие народом белых. Не приняла белых не Россия, а хулиган, хам, «жадная гадина», а они – не Россия. Однако, что такое Россия, Бунин не говорит. В этом и заключается апофатизм, то есть отбрасывание неподходящих элементов при осознанном недостижении удовлетворительного – конечного и познаваемого – результата.

Интересно, что если мы обратимся к эмигрантским дневникам Бунина, то заметим, что там слово «Россия» вызывает у него сильные и зачастую негативные эмоции:

«В городе ярмарка *St. Michel*, слышно, как режут коровы. И вдруг страшное чувство России, тоже ярмарка, рев, народ – и такая безвыходность жизни! Отчего чувствовал это с такой особ[ой] силой в России? Ни на что не похожая страна»⁵.

⁴ Там же. С. 200.

⁵ Он же. *Дневники 1881–1953* / Под ред. Л. М. Суриса. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. 196.



Или в другом месте, несколько годами ранее, Бунин пишет о том, что читает Сергея Соловьева и удивляется тому, как жестокость и пожары всегда были частью русской истории.

Однако апофатическая стратегия мысли у Бунина в дневниках выражена несколько иначе, нежели в публицистике. Если в его публичных текстах и выступлениях она считается ментально, то в дневниковом письме она представлена скорее имплицитно. Сама мысль о сегодняшней России носит выражено пейоративный характер. Однако об этой России он практически и не рассуждает, по-видимому, потому что образ действительной России навсегда слился в историческом воображении Бунина с прошлой жизнью и он сознательно отказывается от него как от неактуального, не отображающего действительность образа. Есть примечательная запись в дневнике, сделанная в 1920 году:

«Нынче прелестн[ый] день, теплый – весна, волнующая, умиляющая радостью и печалью. И эти пасх[альные] напевы при погребении. Все вспоминалась молодость. Все как будто хоронил я – всю прежнюю жизнь, Россию».

Или другая запись, сделанная несколько позже:

«Прохладно, серо, накрапывает. Воротились из церкви – отпевали дочь Чайковского. Его, седого, семидесятилетнего, в старой визиточке, часто плакавшего и молившегося на коленях, так было жалко, что и я неск[олько] раз плакал.

Страшна жизнь!

Сон, дикий сон! Давно ли все это было – сила, богатство, полнота жизни, – и все это было наше, наш дом, Россия!

Полтава, городской сад. Екатер[инослав], Севастополь, залив. Графская пристань, блестящие морск[ие] офицеры и матросы, длинная шлюпка в десять гребцов... Сибирь, Москва, меха, драгоценности, сиб[ирский] экспресс, монастыри, соборы, Астрахань, Баку. [...] И всему конец! И все это было ведь и моя жизнь! И вот ничего, и даже посл[е] родных никогда не увидишь! А собственно я и не заметил как следует, как погибла моя жизнь... Впрочем, в этом-то и милость Божия»⁶.

Бунин стоит на похоронах Кедрина или на отпевании дочери Чайковского, вспоминает их, вспоминает свою историю знакомства с ними и в какой-то момент осознает, что вместе с мертвыми, которых он хоронит, он хоронит и всю свою прошлую жизнь, которая, через запятую, обобщается в термин «Россия». Интересно, что он проводит эти символические похороны на страницах своего дневника и похороны эти оказываются настоящими, полноценными. Начиная с этой записи

6 Так же. С. 167.

термин «Россия» у Бунина начинает встречаться все реже, все чаще обозначая географию, а не внутреннее состояние пишущего, как в этой записи. К примеру, в 1923–1932 годах Бунин использует этот термин всего три раза, а в 1933–1939-м он напишет слово «Россия» четыре раза. В 1941-м в связи с нападением Гитлера на СССР ситуация резко изменится: только за этот год Бунин упомянет Россию более тридцати раз, однако определенный период забвения прослеживается в его дневниках именно после символических похорон.

Интересно, что процитированная выше речь была произнесена на конференции, которая состоялась спустя три года после этих похорон. О чем это может нам сказать? Возможно, о том, что, несмотря на умолчания о родине в рамках дневникового письма, автор не может похоронить самой идеи рассуждать о России. Причем иногда рассуждения будут носить характер любования и восхищения, а иногда – открыто декларируемого ужаса:

«Вечер Куприна. Что-то нелепое, глубоко провинциальное, какой-то дивертисмент, в пользу застрывшего в Кременчуге старого актера. [...] Меня поразил хор, глаз отвык от России; еще раз с ужасом убедился, какая мы Азия, какие монголы»⁷.

Но как рассуждать о России, практически не используя ее названия? Именно апофатическая стратегия письма, как правило, является для Бунина своеобразным тайным языком, позволяющим не только избежать банализации сакрального образа, но и говорить о невыразимом – возможно, даже неосознаваемом и болезненном – опыте.

Как рассуждать о России, практически не используя ее названия? Именно апофатическая стратегия письма является для Бунина своеобразным тайным языком, позволяющим не только избежать банализации сакрального образа, но и говорить о невыразимом опыте.

Зачем в личном, интимном жанре использовать такой язык? Вероятнее всего, вытеснение России из дискурса связано с сильным переживанием травмы эмиграции. Русская эмиграция не сразу приняла факт того, что изгнание затянется на десятилетия, а процесс осознания этого обстоятельства может травмировать и вызывать потребность в «похоронах» как символической текстовой процедуре. Именно попытка не бе-

7 Там же. С. 183.



редить старую рану и может вызвать к жизни апофатический способ выражения, так как не возвращаться к России у автора все равно не получается.

Образ одинокой светлой печали, который появляется в сценах похорон и начинает воплощать в себе образ родины – не географической России, а какой-то иной, неявной и несуществующей. Однажды автор проговаривается, что его интересует только его внутренняя Россия, внутренняя мысль: «Действительность – что такое действительность? Только то, что я чувствую. Остальное – вздор»⁸.

Читая дневники, мы не встретим положительного утверждения «Россия для меня – это...». Зато можно встретить следы спора с окружающей действительностью.

«В Берлине опять неистовство перед Художественным театром. И началось это неистовство еще в прошлом столетии. Вся Россия провалилась с тех пор в тартарары – нам и горюшка мало, мы все те же восторженные кретины, все те же бешеные ценители искусства. А и театр-то, в сущности, с большой дозой пошлости, каким он и всегда был. И опять “На дне” и “Вишневый сад”. И никому-то даже и в голову не приходит, что этот “Сад” – самое плохое произведение Чехова, олеография, а “На дне” – верх стоеросовой примитивности, произведение семинариста или самоучки, и что вообще играть теперь Горького, если бы даже был и семи пядей во лбу, – верх бесстыдства. Ну, актеры – уж известная сволочь в полит[ическом] смысле. А как не стыдно публике? “Рулю”?»⁹

Бунин возмущает, что в театре ставят *не те* пьесы, которые ему казались бы правильными. Но почему? Можно предположить, что если представленные в репертуаре пьесы в той или иной мере реалистически отображают и критикуют жизнь в России, то сам Бунин, судя по всему, не согласен ни с этой критикой, ни с самой возможностью сколько-нибудь реалистически изобразить Россию прошлого.

Бунинскую имажинативную и дискурсивную стратегию интересно сравнить с текстами Алексея Ремизова, о котором отзывались как о «литературном чуде» из-за его своеобразной игровой творческой манеры. Ремизов создал шуточное тайное общество, Обезьянью Великую и Вольную Палату (Обезвелволпал), его кабинет и дом украшали гирлянды из бумажных чертиков, а свое рабочее место он называл «кукушкино гнездо». Для творчества Ремизова характерна эклектика письма. Его роман «Взвихренная Русь» лишен стилистического единства: начатый еще в России, но оформленный и законченный уже в эмиграции, он состоит из сменяющих друг друга газетных

8 Там же. С. 188.

9 Там же. С. 185.

вырезок, рассуждений, дневниковых записей. Михаил Осоргин напишет про этот роман так:

ИВАН САВУШКИН

«НЕ ТА РОССИЯ»: АПОФАТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ...

«Рассказать книгу Ремизова невозможно. Тому, кто ее перечитает, она покажется набором мелких рассказов, сценок, чудачеств, отступлений, случайных записей, неправдоподобных снов, потрясающих подлинными именами. [...] Нужно привыкнуть к тону Ремизова, чтобы, когда дойдешь до последней умиротворяющей страницы, где-то на полустроке, внезапно, но с полной ясностью осознать, что вся эта суета манеры, вся эта не слитая смесь быта и бытия, бодрствования и сна, крови и анекдота, великого горя и мизерных радостей – все это и есть олицетворение В З В И Х Р Е Н Н О Й России»¹⁰.

В завершении этого романа Ремизов пишет рассказ под названием «В конце концов», который начинается с определения того, что такое Россия. Россия – это бесконечный спор, но о чем? Далее из становится ясно, что Россия – это спор эмигрантов о том, что они потеряли в результате революции. Кто-то потерял деньги в банке, кто-то дом, кто-то землю. А я, получается, ничего не потерял, говорит герой Ремизова, ведь у меня не было ни дома, ни денег, ни земли. Собеседники возражают герою:

«– Как не отняли! – вступился еще один: этот ни на что не жаловался, этот все “объяснял”, и что “землю отняли”, и что “дом заняли”, и что “деньги пропали”, – да вы же потеряли больше, чем землю, дом и деньги, вы лишились тех условий работы, при которых вы писали»¹¹.

Герой соглашается и начинает думать не о том, что потерял, а о том, что получил. Он получил эмоции, чувства, мысли, материал для творчества. В конечном счете, автор говорит, что единственное, что можно точно сказать о России, так это то, что она заразила всех живших в ней людей. Но чем? Она заразила автора вечным веселым предчувствием чего-то плохого. При полном желании покоя и умиротворения, при приближающейся беде за окном, зараженный Россией человек, по мнению Ремизова, начинает испытывать чувство радости и веселости.

В этой главе мы отчетливо видим, как автор использует апофатическое описание для достижения нужного эффекта. Он как бы говорит репликами своих героев: Россия – это не земля, Россия – это не деньги в банке, Россия – это не квартира, Россия – это не условия, при которых работает человек. Неужели

10 Осоргин М. *Алексей Ремизов. Ввихренная Русь. Издание «Таур» Париж // Современные записки. 1927.* Кн. 31. С. 453.

11 Ремизов А. *Ввихренная Русь.* Лондон: Overseas Publications Interchange, 1990. С. 517.



Россия – это «зараза», поразившая ее жителей? Нет, это не так, потому что герои не соглашаются с автором тезиса – напротив, они недоумевают, что Ремизов показывает через молчаливую реплику персонажей, выраженную в знаках препинания: «–?!».

Что же тогда такое Россия? В отличие от Бунина, Ремизов дает ответ на этот вопрос в самом начале обсуждаемой главы: «Россия! – разговор на долгие годы, а спор бесконечный. Всякий тут свое – и по-своему прав»¹². В структуре повествования этот тезис подтверждается тем, что глава ничем не заканчивается: реплика одного из героев, который вступает в спор с предыдущим тезисом, просто обрывается многоточием. Бесконечный спор – фигура вечной неопределенности, апофатического дискурса о России. Сама структура ремизовского нарратива демонстрирует характер этого спора: ему присуще апофатическое недостижение позитивного результата.

Единственное, что можно точно сказать о России, так это то, что она заразила всех живших в ней людей вечным веселым предчувствием чего-то плохого. При полном желании покоя и умиротворения, при приближающейся беде за окном, зараженный Россией человек начинает испытывать чувство радости и веселости.

Дневники Ремизова представляют собой своего рода литературную игру, они весьма оригинальны своими структурой и наполнением. Писатель говорит о них так:

«В записях дневника нет никаких событий и только выблеск мыслей. И нищая молчаливая просьба слепого: “Почитайте!”. И это так понятно: “набраться чужих мыслей” и выйти в отразившуюся в них жизнь»¹³.

Не будет преувеличением сказать, что для Ремизова одним из важнейших (если не самых важных) элементов реальности являются сны. Его дневники почти полностью состоят из записанных сновидений, и при развертывании повествования можно наблюдать, как сны плавно перетекают в реальность и наоборот. Можно предположить, что такой подход к дневниковому письму не требует апофатических приемов, так как в нем не предполагается выявление истины как таковой. Если

¹² Там же. С. 516.

¹³ Он же. *Дневник мыслей 1943–1957*. СПб.: Пушкинский дом, 2013. С. 22.

смешиваются сон и реальность, то все либо реально, либо не-реально. Однако следы апофатизма мы находим и у Ремизова. Вот запись от 22 октября 1944 года:

«Не могу вспомнить спокойно день похорон... Могу ли изжить, спрашиваю себя, нет, наверно, до смерти. А после смерти могу ли победить эти чувства, уже бесчувственный, но по-другому, не так, как в то утро, в тот день и в тот вечер. Я хотел бы пробить эту стену, отделяющую живое и мертвое. Но ведь тут не только чувство, а мое сознание – то, что не пропадает, так говорят, что не пропадает. Если бы я знал, что не пропадает, я бы думал, что это сознание мое в какой-то форме выразится там, по смерти, и я бы по-другому жил, не так, как эти полтора года»¹⁴.

Ремизов размышляет над проблемой жизни и смерти. Интересно, что, как и у Бунина, именно момент похорон инспирирует такого рода рефлексии. Но, в отличие от Бунина, Ремизов не приходит к какому-либо определенному выводу. Сплошные вопросы и каскад отрицаний, снимающих предыдущую мысль. Такая мысленная рамка, позволяющая рассуждать про то или иное явление без достижения конечного результата, позволяет писателю в таком же ключе не только говорить о России, но и задаваться более сложными вопросам, как, например, жизнь после смерти и тому подобное.

Подобные эпизоды встречаются нечасто, и в целом можно сказать, что для Ремизова апофатика как метод репрезентации интересна скорее в художественном и публицистическом дискурсах. Однако дневник-сонник, дневниковое письмо на грани сна и яви оказывается имплицитным указанием на принципиально пограничный, непозитивный образ реальности – в том числе исторического прошлого.

* * *

В заключение настоящего очерка можно сказать, что, хотя апофатическая стратегия в эксплицитном, так сказать «логическом», виде более выражена в эмигрантской публицистике и художественном письме, моделирующем публичный дискурс, в дневниках (а также других эго-документах) она представлена скорее на внутренних, неочевидных, но структурно значимых уровнях текста, в большей мере определяя его эпистемологию в целом, нежели те или иные отдельные элементы содержания. Исследования с более широким охватом текстов, вероятно, подтвердят это наблюдение. Применение тех или

¹⁴ Там же.

ИВАН САВУШКИН

«НЕ ТА РОССИЯ»: АПОФАТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ...



ИВАН САВУШКИН

«НЕ ТА РОССИЯ»: АПОФАТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ...

иных апофатических приемов письма отчасти объясняется спецификой самого дневникового жанра: большой пласт информации автор оставляет «за кадром», поскольку – по преимуществу – пишет дневник для себя и не считает нужным или возможным излишне подробно эксплицировать свои мысли. Однако, в конечном счете, мы можем наблюдать, что данное свойство дневника в каком-то смысле усиливает апофатическую тенденцию – в особенности в том, что касается репрезентации травмирующего опыта исторических событий такого масштаба, как революция и эмиграция. Это дает исследователю доступ не только к риторическим приемам публичной речи, но и к более глубоким тенденциям исторического воображения людей.